

НОВЫЙ ЧАРЛИ ЧАПЛИН

В настоящее время я работаю над монографией о творчестве Всеволода Эмильевича Мейерхольда. А здесь я хочу опубликовать лишь те новеллы, события которых непосредственно касаются меня.

После полного провала на экзаменах при поступлении в ЦЕТЕТИС (Центральный техникум театрального искусства, ныне — ГИТИС — Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского) я тут же подал документы в ГЭКТЕМАС (Государственные экспериментальные театральные мастерские).

В отличие от ЦЕТЕТИСа экзамены в ГЭКТЕМАСе имени В. Э. Мейерхольда проходили открыто, в три тура, при переполненном зрительном зале. Мейерхольд считал, что за один тур невозможно определить способности человека, его актерские данные.

Председатель приемной комиссии режиссер Центнерович, замещавший Мейерхольда, то и дело поднимался с места и призывал зрителей к порядку. Приемные экзамены были здесь превращены в зрелище. Зал бурно реагировал на все происходящее на сцене. То хохотали над робостью поступающих, то ободряющими репликами и аплодисментами поддерживали новичка. И в такой, казалось бы, сложной обстановке, мы, новенькие, чувствовали себя легко и хорошо.

И все же, как я ни пыжился, как ни старался не волноваться, а в день экзаменов перед первым туром меня трясло от страха.

Ко второму туру меня не допустили, и я окончательно расстроился. Но вечером завуч ГЭКТЕМАСа Бондаренко сказал, что меня все же включили в списки допущенных ко вто-

рому туру и объяснил, что против меня в комиссии выступила преподавательница по технике речи Юзвickaя, которая считала, что у меня органические дефекты речи.

— Осталось три дня до второго тура, — ободрял меня Бондаренко, — и тебе нужно хорошо подготовиться. Я прикрепил к тебе двух талантливых старшекурсников. Не тушуйся! Нажимай!

В списках допущенных к третьему туру, меня тоже не оказалось. И я пришел к Бондаренко забрать свои документы. В кабинете у него было полно народу. Решил ждать, пока все разойдутся. Совершенно случайно я услышал, как Бондаренко говорил с Центнеровичем:

— Почему Юзвickaя придирается к Шульману? Его к нам направил на учебу ЦК комсомола Азербайджана, — недоумевал Бондаренко.

— А вы что, не слышали, какая у него каша во рту? — спросил Центнерович.

— На кой черт Шульману эта техника речи, когда он вовсе не собирается быть актером, а хочет учиться на директора театра?

Дальше я не слышал. Кто-то вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. Меня глубоко удивило то, что сказал Бондаренко. Я никогда не говорил ему, что хочу учиться на какого-то там директора театра... Во всяком случае я был глубоко поражен, когда на следующий день увидел свою фамилию в списках допущенных к третьему туру. Особого восторга я от этого не испытывал, так как знал, что это протекция Бондаренко. У меня не было никаких надежд, что сумею пройти этот самый сложный и решающий тур. Я шел на экзамены из такта по отношению к Бондаренко, вовсе не надеясь, что смогу попасть в число пятнадцати студентов счастливых. На третьем туре поступающие проходили индивидуальные испытания по множеству предметов.

Совершенно безнадежно я вошел в первый кабинет, где экзамен по живописи принимал профессор Тарабукин. Я не имел решительно никакого представления о сути этой совершенно незнакомой мне дисциплины.

что вы можете сказать, — спросил он меня, — о композиционных особенностях вот этой картины. — И он придвинул ко мне репродукцию, о которой я решительно ничего не знал. Я глубокомысленно молчал, глядя на эту картинку, больше думая о том, что означают слова "композиционные особенности". Пауза явно затянулась.

— Вы не знаете, кто ее написал? Это "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Вам известен такой художник?

— Если говорить по-честному, нет. Имя такое я слышал в раннем детстве. Мельком.

— Мельком? Гм... значит, мельком ... — повторил профессор дважды. — А что вы знаете не мельком? Ну кого из художников стран Европы вы могли бы назвать?

— Я буржуазных художников не изучал, — отрезал я.

— Гм... буржуазных, — ухмыльнулся Тарабукин, — назовите тогда не буржуазных.

И снова тягостная пауза.

— Этак мы с вами просидим до утра. Экзаменующихся много. Ну, а в Третьяковской галерее вы были?

— Да! Два раза! — оживился я.

— Два раза? Это очень даже похвально. Какая же картина произвела там на вас самое большое впечатление? Не Врубель?

— Врубель? — переспросил я. — Видимо, он решил меня разыграть, — Врубель, — повторил я, — это какая-то не русская фамилия... И вообще все картины в Третьяковке похожи друг на друга, — решил я блеснуть неожиданным открытием, — все больше про религию.

Тарабукин откровенно расхохотался, а затем спросил:

— Ну а картины Репина вы хотя бы заметили?

— Конечно. Я больше часа простоял перед картиной Репина, как Иван Грозный убивает своего сына. Это гениально!

— Чем же она вам так понравилась? Что в ней гениального?

— Меня больше всего тронула стекающая слеза на лице царя. Натуральная. Как настоящая. И кровь тоже настоящая, липкая какая-то. Ну и... глаза, совсем ненормальные глаза...

— У кого ненормальные глаза? — удивился Тарабукин.

— У обоих. И у отца, и у сына. Разве не так, — удивленно спросил уже и профессора Тарабукина.

Придвинув к себе толстый журнал, он размахисто поставил жирный кол, даже не пытаясь скрыть это от меня.

Мне вдруг, так просто, возможно из озорства, захотелось закричать "караул", но я сидел молча, опустив глаза.

— Вы свободны, — сказал Тарабукин, — идите в соседний кабинет, там профессор Григорьев принимает литературу. Если вам не трудно, пришлите ко мне следующего. До свидания.

Выходя из кабинета профессора Тарабукина, я ухмыльнулся его "до свидания"... Не до свидания, подумал я, а прощай!

Если Тарабукина студенты старших курсов считали очень строгим и молчаливым человеком, то профессора Григорьева они характеризовали как душевного и очень доброго. К тому же, бодрился я, литература это не живопись, кое-что я прочитал на своем веку. И поэтому в кабинет профессора Григорьева я вошел более уверенно, хотя перед моими глазами маячил жирный тарабукинский кол.

— Расскажите, — начал профессор Григорьев, — сюжет и фабулу "Египетских ночей".

— Этого произведения я еще не читал, — признался я и закашлялся.

— А какие произведения этого автора вам знакомы?

— Я не знаю автора "Египетских ночей", — сказал я откровенно.

— Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин написал "Египетские ночи", молодой человек. Вы читали что-нибудь Пушкина?

— Мой отец пел в одесской опере, и я много раз слушал "Евгения Онегина", "Пиковую даму" и "Бориса Годунова" и некоторые арии знаю наизусть. Могу вам пропеть любую. Хотите?

— Нет. Спасибо. Выходит, что вы Пушкина изучали по операм? А где же вы учились и что вы закончили? — спросил Григорьев.

Я ушел с третьего класса гимназии, закончил два курса факультета и вечернюю партийную школу в Баку.

И там не проходили Пушкина? — удивленно спросил профессор.

Я из рабочих. Добывал в Баку нефть. Руководил комсомольской ячейкой. На чтение не было времени. Были дела поважнее... Там в Баку...

Я не знаю, что бы я ему еще налепетал, но он меня оставил.

— Это к делу не относится. Пушкина сейчас знают все. Вы удивительно безграмотны, Шульман.

И он поставил в журнале перед моей фамилией еще один кол. Такой же жирный. Только не черными, а красными чернилами.

Историю театра принимал известный театровед Коренев Михаил Михайлович.

— Расскажите существенные, главные особенности и разницу между Камерным театром (я впервые услышал о нем), МХАТом (никогда там не был) и театром Мейерхольда.

— Не знаю, — сказал я твердо, без трепя.

— А что вы знаете о театре Мейерхольда? — спросил он. Я задумался. Вспомнил статью во вчерашней комсомолке.

— Это самый передовой и революционный театр, — выпалил я.

— А почему именно в этот театр вы решили поступать. Это не случайно, вероятно?

— Потому что я комсомолец и коммунист, и мне этот театр по нутру. Я сам по натуре новатор.

— Что же в этом театре революционного? Какой спектакль вы смотрели?

— Я спектаклей этого театра не видел.

Получив третий кол, я вышел из кабинета и наткнулся на Бондаренко.

— Ну, как Шульман?

— Плохо. Три кола, — безнадежно ответил я ему.

— Не падай духом, Миша. Вытянем. На экзамен к Юзвickой лучше не ходи. Не допустит. Она из-за тебя такой скандал

устроила! Ее слово решает все, к сожалению. Как-никак актриса, техника речи один из главных предметов театра. Но ты не падай духом. Держись. Иди на сцену сдавать музыку, ритмику.

По музыке педагог Давыдова поставила мне пятерку. Ритмика — пятерка. Слух — пятерка. И по обществоведению я получил пятерку. Четыре пятерки. Но они не подняли моего настроения. Поплелся сдавать еще один "главный" предмет — движение и биомеханику. Совсем непонятное словечко... И сколько может быть "главных" предметов?

В огромном гимнастическом зале на третьем этаже было многолюдно и оживленно. Здесь хозяйничал педагог Злобин. Злобин, как мне говорили, ближайший помощник Меерхольда по биомеханике. При моем появлении Злобин сразу же набросился на меня.

— Идите, идите быстрее. Мы вас давно уже ждем. Сейчас проверим ваше внимание, сосредоточенность, координацию движений и реакцию. Прошу музыку. Сначала пройдите с этой девушкой несколько кругов вальса. Смелей, смелей! Где Люся Иванова, чего прячешься? Танцуй!

Ко мне подошла красивая девушка, почти голая — в одних малюсеньких трусиках и лифчике. Я совсем смутился, боялся дотронуться до нее. А она смотрела на меня снисходительно, иронически, очаровательно улыбаясь. Из-за такой, — подумал я, — можно пойти на все.

— Ну, долго вы будете так стоять? — заорал Злобин, — танцуйте!

Не помню уж, как я там танцевал. Помню лишь, что танцевал почти с закрытыми глазами: не мог смотреть ей в лицо. Когда мы закончили, Злобин сказал "не плохо", и, подойдя ко мне, стал ощупывать, как лошадь. Он щупал бицепсы на руках и ногах, потыкал пальцами в грудь и живот, сильно похлопал по ягодицам и сказал:

— По-моему, не плохой парень. Идите, Шульман, в душевую и разденьтесь. Сейчас предстоит задачка посложнее, чем танец. Биомеханика! Быстро!

В душевой я застрял надолго. Не знал, как найти выход из трудного положения... Влетел Злобин и заорал на меня: — Сколько можно переодеваться? Мы ждем вас. Почему не выходите?

Когда я объяснил ему в чем дело, он расхохотался и закричал в зал:

— Он, оказывается, не в трусах, а в кальсонах. Стесняется выйти. Дайте ему какие-нибудь трусы!

Я слышал, как все хохотали, а когда я вышел в гимнастический зал, залились пуще прежнего.

— Настоящий Аполлон, — сострил Злобин и новый взрыв хохота опять потряс зал. Смеялись над моим видом. Трусы, что мне дали, были очень велики. Правая штанина до колен, а левая намного выше. Сам я, весь волосатый, сутулый и смущенный до предела, не мог вызвать иной реакции. Злобин взял меня за руку и ввел в центр зала.

— Задание такое. Вообразите, что это футбольное поле. Ответственный матч. Вы — центр нападения. Надежда команды! Идет вторая половина игры. Счет — один ноль в пользу противника. Для получения кубка вам достаточно ничьей. Нужно обязательно забить хотя бы один гол! Только один! Естественно, что не будет никаких мячей, никаких партнеров и никаких ворот. Все воображаемое. По свистку начнете. Понял, Шульман?

— Я в Баку играл запасным вратарем, — заметил я.

И все снова захохотали.

— Ну и отлично. Внимание! По свистку начинайте! Главное, ощущайте в ногах мяч! И на поле вы не один! Ощущайте партнеров по команде. Побольше выдумки и фантазии. Внимание!!! Даю свисток!

Уж не знаю, на что я надеялся, но как только раздался свисток, я забыл про все мои колы и начал делать какие-то неестественные движения. Я нелепо бегал и прыгал, как молодой взбесившийся козлик. Смысл этих диких движений знал только я один. Я то отступал, то передавал воображаемый мяч воображаемому партнеру, в общем, извивался змейей, как Бог на душу положил. И наконец, войдя в раж, я

стихийно выполнил поставленную Злобиным задачу: неожиданно для всех и для самого себя я вдруг оглашенно заорал во все горло: "Пасуй, Вася! Сюда мяч, Вася!" и, ринувшись с воображаемым мячом к воображаемым воротам, не рассчитав сил, я так долбанул по воображаемому мячу, с такой силой, что сверзился на собственные, уже не воображаемые, ягодицы на асфальтированный пол гимнастического зала, неистово и истошно заорав: "го-ол!" Это был поистине ликующий возглас.

Такая кульминация вызвала новый взрыв хохота. Буквально все смеялись до слез, держась за животы, настолько нелепо было то, что я им продемонстрировал: Откровенно хохотал и педагог Злобин, подбежавший ко мне, чтобы помочь подняться. Я сидел на полу растерянный, скривившийся от боли, потирая ушибленное место.

— Перегнул маленько, — сказал он, — не рассчитал силы. А вообще, молодец! Здорово! Заработал честную пятерку. Поздравляю. Это было бесподобно, когда ты вдруг заорал "Пасуй, Вася!" Здорово! Жаль, что Мейерхольд не видел.

В общежитии из-за этого события я стал центром внимания. Все расспрашивали меня, что это за трюк я выбросил на экзамене по биомеханике у Злобина.

— Ты удостоился самой высокой чести, — сказал актер Эраст Павлович Гарин.

— Почему? — удивился я.

— Тебя прозвали еврейским Чарли Чаплиным, настолько несчастным ты там выглядел. Для начала, это совсем не плохо, Шульман.

Пришел Бондаренко. Стали подсчитывать, сколько пятерок я заработал.

— Плевать ему на все, — сказал Эраст Гарин, — у него по биомеханике пятерка. Поздравляю, товарищ еврейский Чарли Чаплин, поздравляю.

В вывешенных утром списках принятых на первый курс моей фамилии не было...

С огромным трудом мне удалось прорваться на прием

и секретариату ЦК партии и ЦК партии
деловую, которую проводил какое-то совещание.

— В этом деле, — сказал он мне, — я вам ничем помочь не
могу, потому что, когда вы приходите в кабинет, вы уже знаете.

— Да, конечно же вы, — ответил я на него, — мне не ну-
жно никаких знаний и никаких техник речи. Я не собираюсь
быть адвокатом. Какое-то Юзефович, такой антисемит, по-
тому что он еврейско-польский помещик, доверил решение моей
жизни. Какое решение. Меня ведь на учебу направил ЦК комсо-
молу, а не Юзефовичу, и вот конец моей жизни. Что мне, под по-
дой, сказать?

— Да, конечно же вы, — продолжал Диманштейн, — что будет,
так и будет, так и будет. Ведь таких как вы, которых не
бывает, много. Это же самое настоящее узурпаторство! Нель-
зя этого делать! Я же это не знаю.

— Какое там узурпаторство, дорогой товарищ Диманш-
тейн, — сказал он мне из участливого совещания, — парень
очень молодой, рабочий, горняк, комсомолец, комму-
нист. Кто же еще знает, как не таких? А мы что не знаем,
что это будет по поводу? Боялись мамонтовых сыноч-
ков. Подумайте, ребята, Бухарин!

Эта проблема решалась моей судьбой. Диманштейн снял трубу-
ку, вынул из нее пачку и начал читать газету обо мне.

— Так же как очень давно, — говорил он кому-то по теле-
фону. — Прощай, прощай, этого парня, переговорить с ним и
вот так, — закончил Диманштейн свой разговор.

Положив трубку, он сказал с улыбкой.

— Поздравляю с Наркомпросом. Вас примет Анатолий Ва-
сильевич. Я с вами сейчас буду говорить.

— А кто это Анатолий Васильевич? — спросил я.

— Понимаете, Нарком просвещения. Не знаете такого?

— Как это не знаю? Друзья Ленина. Я просто не знал, что его
звали Анатолий Васильевич. Сто раз его слышал.

Потом оказалось, что и моего спасителя, участника сове-
щания, я познакомился на Восточные труды в Наркомпрос.

Наркомпросом мое имя было в списках приня-

тых в ГЭКТЕМАС имени В. Э. Мейерхольда произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Юзвическая устроила истерический скандал, угрожая сообщить об этом Мейерхольду в Париж. Она категорически запретила мне ходить на ее уроки. Меня жгло чувство неловкости: могли подумать, что меня приняли по знакомству, и это не давало мне покоя. Наконец я настоял, чтобы Бондаренко собрал весь курс и разъяснил все, что произошло. Потом попросил коменданта нашего общежития, чтобы он ежедневно будил меня в 3 часа утра. Он посмотрел на меня с удивлением, но согласился.

Я разработал четкий план занятий, который выполнял с железной точностью в течение восьми месяцев — до экзамена Мейерхольда. Никогда еще в своей жизни я не испытывал такой жажды знаний. Больше всего мне хотелось доказать, что у меня нет никаких органических дефектов речи. Все, что проходили на уроках Юзвической, я узнавал у ребят и жал во всю, стараясь не отставать от других. Моя одержимость не могла остаться секретом для всех. Пошли разные толки и пересуды. Но я ничего не менял и твердо придерживался своего плана.

Однажды в общежитие пришла студентка нашего курса Люся Иванова. Очень способная девушка, та, с которой я танцевал на экзамене у Злобина.

— Можно вас оторвать на несколько минут? — спросила она.

— Пожалуйста.

— Спасибо. Я вас хорошо помню с экзамена по биомеханике.

— Я вас тоже помню, Люся. Я очень смущался. Вы тогда были только в трусах и бюстгалтере, как на пляже.

— Только это вы запомнили? А я запомнила, что всем тогда было уж очень весело, а мне почему-то нет. Я...

— А зачем меня жалеть? — обиделся я.

— Что вы? Я вас вовсе не жалею. Просто не люблю, когда смеются над людьми. Я пришла к вам, Миша, с просьбой. Помогите мне.

— Ко мне с просьбой? Помочь? Чем это я вам могу помочь, сам барахтаюсь...

Вы единственный, кто может мне помочь, — прервала меня Люся. — У меня ничего не получается с этими общественными дисциплинами. Я ничего не могу понять, а вы это все знаете лучше всех. А я вам по технике речи могу помочь, по живописи и литературе. Заниматься будем у меня дома. Три раза в неделю. Согласны?

— Конечно, очень даже, — не задумываясь, согласился я. Она улыбнулась.

Занимаясь с Люсей, с этой простой и правдивой девушкой, я впервые понял, почему студенты придают такое огромное значение предстоящим экзаменам, которые будет принимать сам Мейерхольд. Экзамен все время откладывался, так как Мейерхольд был очень занят. Но час настал.

— Ну что ж, — сказал Мейерхольд, усаживаясь. — С некоторыми из вас я уже успел познакомиться. С остальными познакомлюсь сегодня. Хотелось бы, чтобы все знали, что мы не имеем право никому из вас портить жизнь. Самое большое преступление, которое можно себе представить, это обучать человека актерскому мастерству, когда у него для этого нет необходимых природных данных. Самая большая трагедия — это разочарование в выбранной профессии. Уж лучше быть хорошим слесарем или токарем, чем плохим актером. Дико обучать человека пению, если у него нет голоса. Мы все вместе, сообща будем решать этот вопрос, честно и объективно. Для этого мы и вызвали вас сюда.

— Начнем с вас, — обратился он к профессору Григорьеву. — Дайте, пожалуйста, краткие характеристики о, так сказать, мозговом потенциале новых студентов.

Профессор Григорьев, сверхблестящий педагог, любимец не только студентов, но и всего театра, зачитал оценки по литературе. Я был очень рад, что попал в число отличников. Пятерки получили шесть человек со всего курса.

После него наступил черед профессора Тарабукина. — Вы пропустили одну фамилию, профессор, — сказал ему Мейерхольд, — вы ничего не сказали о студенте Шульмане.

— Я это сделал нарочно, — Тарабукин, лукаво улыбнулся, глянув в мою сторону, — хочу охарактеризовать его особо. На приемных экзаменах я поставил ему единицу и, честно говоря, вообще не думал, что его примут. На курсе я только двоим поставил пятерки, в том числе и Шульману. Я поражен его одержимой работоспособностью. Он интересуется живописью глубоко и зашел намного дальше программы. Лишая себя самого необходимого, он тратит все свои деньги на открытки и репродукции и уговорил многих студентов этим заниматься. Он зайцем, без билета, поехал в Ленинград, чтобы познакомиться в Эрмитаже с мадонной Литтой Леонардо да Винчи, о которой никакого понятия не имел до поступления к нам.

— А у кого вторая пятерка, — поинтересовался Мейерхольд.

— У Люси Ивановой.

— Понятно. Они ведь дружат, — рассмеялся Мейерхольд, — мне все известно. Все.

И он шутливо погрозил нам пальцем. Все рассмеялись, а мы с Люсей ужасно покраснели.

— Они больше соревнуются, чем дружат, Всеволод Эмильевич, — вставил Бондаренко.

Люся Иванова смутилась и зарделась еще больше. Тарабукина сменил преподаватель обществоведения Каленый, и мне было приятно, что Люся и по этим дисциплинам тоже получила пятерку. Я не удержался и посмотрел на нее, ощутив какое-то тепло внутри, когда она глазами, улыбкой, незаметным кивком поблагодарила меня.

После педагога Коренева, который почти всем поставил отличные оценки, журнал открыла Юзвицкая:

— Отличников у меня мало. Не могу вас порадовать, Всеволод Эмильевич. Курс попался ленивый. Лучше всех занимаются Сагал, Шорин, Высочан и Иванова. Это отличники. Что же касается Шульмана, то я его на свои занятия по технике речи вообще не допускала.

— Почему, — спросил Мейерхольд.

— Он занимался самостоятельно, — вставил Бондаренко.

Самостоятельно? — удивился Мейерхольд. — почему самостоятельно?
Это не совсем так, — не удержался я, — мне помогала Иванова и почти все ребята.

— А результаты? — спросил Мейерхольд, — попробуйте, Шульман, прочитать скороговорку.

Я встал, собрался и выпалил самую трудную: Была у Фрола, Фролу про Лавра наврала, пришла к Лавру, Лавру про Фрола наврала...

— Теперь, — предложил Мейерхольд, — эту же скороговорку пусть прочитает, ну, хотя бы Шорин. У него ведь пятерка?

Шорин встал немного смущенный и повторил ее отлично.

— Не улавливаю разницы, — сказал Мейерхольд Юзвической, — а ну-ка еще раз.

Я и Шорин повторили эту и другие скороговорки, после чего немного смущенная Юзвическая сказала:

— Я тоже что-то не совсем улавливаю разницу, Всеволод Эмильевич. Не ожидала. И не верила, когда мне об этом говорила Иванова. Добиться за восемь месяцев такого! Молодец, — добавила она.

Юзвическая не только полностью изменила свое отношение ко мне, но назначила меня своим ближайшим помощником по курсу.

После перерыва студенты читали стихи, басни, исполняли этюды. Мейерхольд очень внимательно слушал, следил, активно реагировал на каждое выступление, о чем-то шептался со своими помощниками, делал какие-то заметки в блокноте.

На это ушло много времени. Потом он и его свита удалились для решения нашей судьбы. Это было самым трудным — ждать приговора, слоняться без дела... Все разбрелись по театру, слонялись из угла в угол, собирались группами и тут же расходились.

— Даже не представляешь, Миша, как я волнуюсь, как боюсь, — подошла ко мне, взбудораженная Люся Иванова.

— Тебе-то чего волноваться? Этюд ты сыграла блестяще. Ого-го! Мне бы так!

— А ты? Тебе понравилось? — спросила она.

— Я? Я был так взволнован... Ты для меня...

Наш разговор прервал резкий звонок, все мы поспешно направились в лекционный зал, куда через минуту пришел Мейерхольд, актеры, педагоги, режиссеры.

В зале стояла напряженная тишина. Слышно было, кажется, как стучат наши сердца.

— Так вот, друзья, — начал Мейерхольд, улыбаясь, — благодарю приемную комиссию за то, что без меня набрали такой удачный курс. И решили мы... никого не отчислять. Учитесь на здоровье. Желаю успехов. Молодцы! — и он удалился вместе со своими помощниками, сопровождаемый радостными возгласами, облегченными вздохами и горячими аплодисментами.

Как только они ушли, мы бросились поздравлять друг друга, обниматься и целоваться. Долго в этот вечер мы не могли расстаться, до позднего вечера делились впечатлениями.

Когда стали расходиться, ко мне вдруг подошла Люся Иванова.

— Я должна поблагодарить тебя, Миша. Если бы не ты, я бы никогда не преодолела всю эту тонкую политическую премудрость. Большое тебе спасибо. И еще... От всего сердца поздравляю тебя с успехом. Я-то, пожалуй, больше всех знаю, во что тебе это обошлось...

— Спасибо, Люся... большое спасибо... — я был растроган до глубины души.